

17 ДЕК 1970

г. Белгород

Газета № . . .



«ОБНИМИТЕСЬ, МИЛЛИОНЫ!»

Пустовали многие ложи, в том числе и королевская. Эрцгерцог Рудольф — в Ольмюце, а кроме него... Пришлось утешаться тем, что с другими бывало так же. С Моцартом, например, с премьерой его «Волшебной флейты». Теперь Бетховен создал свою лебединую песню. Можно ли ожидать иного отношения двора к гимнам из «Торжественной Мессы», к Девятой симфонии, — к его симфонии, возгласившей миру самое волшебное и прекрасное слово: радость?..

Всю жизнь мечтал обрушить мощь этого заклинания на войну. На все войны с их напоеонами и прочими жаждущими захватов диктаторами. И вовсе не из тщеславия хотел стать добрым властителем душ, явить людям свои послания добра и истины.

...Театр. Помощники отдают последние распоряжения музыкантам, а ты на своем подиуме* — как соломенное чучело, как марионетка, — только стойшь, смотришь, — и не слышишь, не понимаешь, о чем они там спорят. Но хочешь ты и чучело соломенное — а нельзя ничего прозевать, просмотреть; и тут еще публика позади бесшумно разевает рты и хлопает в ладоши, и от этих бесшумных аплодисментов временами страшно... Цензура запретила исполнять отрывки из Мессы, а ты осмелился — и пробил своим упрямым лбом цензуру. И они, пришедшие на твой концерт, аплодируют, конечно же, не тебе и твоей музыке, а твоему пикантному бесстрашию, посягнувшему на власть ненавистного Меттерниха.

Но не слишком ли долго болтают мои помощники с оркестрантами? Вот Шуппанциг, первая скрипка, о чем-то еще раз напомнил дирижеру Умлауфу, и тот, наконец, занял свое место внизу, в оркестре, невидимый публике. Пора начинать «представление»...

Умлауф оглянулся на Бетховена. Бетховен понял, кивнул: можно. Умлауф поднял руки и чуть развел их в стороны. Бетховен поднял руки и чуть развел их в стороны...

Сначала шла увертюра «На освящение дома»; хор тут не нужен, хористы еще сидят на своих местах.

Музыканты смотрят на Умлауфа.

* Подиум — маленькая площадка для дирижера.

Бетховен дал знак.

Умлауф дал знак...

Вперед, увертюра. Молодчина, Умлауф, славный парняга, — ты еще находишь время весело подмигивать мне через плечо. Мол, все идет превосходно, так и должно идти. Ведь этот маленький фарс с дирижированием мы отрепетировали заранее.

Да, отрепетировали недурно. Только на репетиции все было немножко иначе. Тогда Умлауф прыгал и махал руками лишь в случае крайней необходимости. А сегодня — от волнения?.. — сегодня я вообще ничего, ну ничего не слышу. Даже грохота литавр. Даже трубных воплей.

Увертюра неплохая, а? Разумеется, это не «Леонора» номер третий, которую так неблагоприятно приняли в свое время «знатоки». И до «Эгмонта» новой увертюры тоже далековато. Кстати, и об «Эгмонте» критики не проронили ни слова.

Ах, да всего, что было, уже и не припомнить.

Ладно. Зато сейчас начнем настоящее, серьезное.

После увертюры громко зашептал вииз, Умлауфу:

— Вы мне смотрите! Уговор!.. Чтоб в хоре — никаких фокусов а ля Россини. Я ничего не имею против итальянца, но мы же уговорились... Если хористы привыкли к Россини — пусть отвыкают. Сейчас моя Месса. Россини тоже не порадует, если кому-то взбретет в голову петь его оперы «под Бетховена». Вы поняли, Умлауф? Смотри. Фальстаф. — ты тоже мне за все потом ответишь!

«Фальстаф» — Шуппанциг успокоительно покивал смычком и углубился в партию. Бетховен теперь уже не спускал глаз с хора. Музыканты и хористы притихли: ведь достаточно малейшего неосторожного жеста, улыбки, чтобы Людвиг заподозрил неладное.

Певцы действительно-таки признали к руссиневской, итальянской манере пения. Бетховен обнаружил это еще раньше, на репетициях. Певцы тогда пытались хитрить, закрывались от него листками-партиями, отворачивались. Знали: по движению губ, по дыханию может разгадать обман.

Чего доброго, и сейчас начнут свои фокусы. Нет, уж лучше поднять их.

— Встать, хор!

Умлауф протянул руки ладонями к хору. Бетховен повторил жест, и с тихим шуршаньем и шелестом певцы поднялись со стульев, образовали за оркестром полукруг.

Бетховен кивнул всем дружески и умоляюще: вы же знаете, эта музыка вышла из моего сердца, пусть она и вернется к сердцам!

Листки партитуры замерли в руках хористов.

Бетховен осканился: я жду, Умлауф! — и те, на сцене, мгновенно поняли — вряд ли эта, нетерпеливая, хищная улыбка означает умиротворение.

В момент, подобный вспышке молнии, перед Бетховеном пресеклось в мельчайших подробностях пережитое, прочувствованное, продуманное за эти годы, весь путь — от начала до самого этого вечера.

Началась Девятая симфония.

Очень тихо — первые такты. Бетховен напряженно спорился. В партитуре: аллегро ма нон troppo уи поко маэстозо, — скоро, но не очень, с постепенно нарастающим величием...

Унисон. — «тутти», «тубите же, дьяволы! Что ж вы, духовые, литавры?

Он метался на подиуме, как истерзанный отчаянием безумец, топал ногами, протягивал вперед руки, словно желая отнять у музыкантов их инструменты, чтобы самому играть сразу на всех. Надо завоевать, вырвать победу и увенчать ею мир. — Будь проклята война!

Музыканты, как зачарованные, с тайным страхом поглядывали на него.

Умлауф тайком делал им знаки: смотрите на меня, только на меня! Не отвлекайтесь, он вас собьет, заведет бог знает куда!

Страшная игра продолжалась.

На подиуме перед оркестром был человек. Совсем не великан, а впечатление такое, что он циклопически огромен. Разметались пряди седых, совсем уже белых волос. Вулкан с заснеженной вершиной. И этот вулкан неистово взрывался, когда замечал разноречие. Он требовал панически, умолял играть тихо, готов был в смиренном отчаянии встать перед музыкантами на колени, — а оркестр, оказывается, уже «ушел» далеко вперед, оглушающе рокотали литавры и дрожала от крика — он ви-

дел! — дрожала от крика фанфарная медь.

Глухой музыкант. Как нарочно: глухота поразила музыканта. В публике начали вздыхать: бедняга, но достоин сожаления. Он воззвал к сердцам, и сердца растрогались. Публика решила пожалеть несчастного. После второй части раздались аплодисменты. Но Бетховен, очевидно, не услышал. Аплодисменты нарастали, публика не отступала: должен же он, наконец, услышать! Ему аплодировали, кричали, — никакого проку. Пришлось невидимому Умгеру, подойти к Бетховену, взять его за руку и повернуть лицом к залу...

Бетховен увидел колеблющую волнением человеческую массу. Он поклонился растерянно и поспешно, чтобы унять страсти в зале, и — опять встал лицом к оркестру, перевернул лист партитуры.

— Дальше, дальше. Третья часть...

...Бросок в финал!

И вскоре наступил тот самый момент, где его так счастливо осенила мысль о речитативе баритона, о введении в симфонию человеческих голосов. Промелькнула в сознании незабываемая ночь. Окно распахнуто в глухую темноту улиц. Литейная напротив. Под ударом рабочего разлетелась пробка ковш, и вдруг темноту осветила сумасшедшая пляска фонтанирующих пскр. Жаркая струя расплавленного металла прожгла ночь и — хлынула, заполняя невидимую форму.

И в симфонии текли, сплетаясь, сотворенные его чувством и разумом огненные потоки, первые вестники радости — быстрее, быстрее! Радость ждала, ждала до времени в беспокойном заточении, и вот устремилась, рождалась, к своему апофеозу, и была она все светлей, жарче, уверенней. Прорвал плотину солнечно-золотой ручей! Ну же, баритон, твоя очередь. Речитатив. Бетховен увидел свою музыку: солист зашевелил губами.

— О, братья! Довольно печали. Будем гимны петь безбрежному веселью, и светлой, светлой радости!

В атаку, оркестр. На войну обрушимся, на проклятую войну.

— Радость?

Кажется, вступил хор?

— Радости!..

Ну вот, пришел и твой черед: песня радости. Моя песня Радости.

Он не слышал, не мог слышать ничего, даже легкого дыхания своей громкой и прекрасной музыки. Возбуждение битвы отняло у него возможность различать даже мощные вскрики оркестра и хора. Он не слышал ничего, глухой генералиссимус Бетховен.

А хор уже пел гимн Радости:

— Обнимитесь, миллионы... Какое упоение!

Если бы хоть на краткий миг услышать, унять жажду... звуками, утолить жажду...

Перевод с немецкого

В. СИРОТЕНКО.